

## Воспомявая Сизовой Ольги Ефимовны<sup>1</sup>.

Лет десять тому назад я собиралась поспрашивать о прошлом своего многочисленного рода у старших, чтобы написать о нашем житье, но увы, все они «ушли», и мы мало что знаем о наших дедах и прадедах, в общем остались без корней. Есть одна версия о дедушке Максиме Маркеловиче, но достоверна ли она? Вроде бы его мать за ослушание барыни выслала в Сибирь с двумя детьми: один наш дедушка, другая дочь – Домна Маркеловна жила в селе Калтай и очень пила.

Было у нашего дедушки пять сыновей и три дочери. Бабушка, Агафья Соколова, умерла сравнительно молодой. Видимо, когда сыновья мужали, росли и хозяйство, и достаток. Запрягалось до 30 лошадей, ямщичили, как называлось в то время. Началась мировая война, много лошадей ушло, и с ними в эту мясорубку попали и сыновья, но возвратились все живыми - невредимыми. Мой отец, Сизов Ефим Максимович<sup>2</sup>, родился в 1880 году, и был он человек очень хозяйственный, работающий (сейчас так уже не работают) гордый, независимый, сильный, непьющий, такой хозяин, о каких сейчас мечтают в нашем государстве.

Дедушка умер в 1921 году во время эпидемии тифа, мой отец остался за старшего (он был первенцем), семья состояла из 30 человек. Понемногу стали отделяться женатые братья, один умер в возрасте 18 лет, другой где-то около 30 лет. В нашей большой ограде было два дома, один старый, 4 окна на улицу, другой – новый, двухэтажный, под железной крышей, достраивали его до 1910-12 годов. Первый дом строил дедушка до своей женитьбы, где-то в 1860-70 годах.

Что я помню из того, как стали уничтожать русского крестьянина, элиту крестьянства российского? Приходил к нам на «огонек» некий Коротков Александр и требовал, требовал платить налоги: чуть ли не всему белому свету задолжал наш бедный, несчастный отец. Он доставал бумажки, доказывая, что уже все заплачено, ему вручали другие, и похоже было, что конца этому не будет. Понимал ли он, насколько эта власть была двуличная подлая? Мама почти все время плакала, и я вместе с ней, очевидно, родители знали к чему это клонится, а нас мала-мала меньше пять человек. Я родилась, видимо, в 1922-23 или 1924 году. Документов не было. Мама наша была религиозным, исключительно порядочным человеком. Она крестила нас в церкви, а та в 1927-28 годах сгорела, и естественно, все книги записи погибли. Вспоминается все страшное, приходили, грозили, забирали, описывали, и когда уже нечего было взять, судили нашего бедного отца и посадили его в Томскую тюрьму. Было это, наверное, в 1930 году. Примерно

---

<sup>1</sup> **Сизова Ольга Ефимовна** 1922 г.р. Проживала: Томский р-н, с. Калтай. Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение - Парабельский р-н Томск. обл. Источник: УВД Томской обл.

<sup>2</sup> **Сизов Ефим Максимович**. Родился в 1881 г. Проживал: Томский р-н, с. Калтай. Приговорен: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение - Парабельский р-н Томск. обл. Источник: УВД Томской обл.

в это же время младший брат моего отца – Федор Максимович запряг лошадку, сбросил на телегу пожитки, посадил ребятишек и был таков в город Томск. Жили они на верхнем этаже нового дома, а старый дом занимали всевозможные дачники (почему его не продали?).

Конечно, обстановка усугубилась, теперь мы остались одни хозяевами в двух домах, но, наверное, ненадолго, потому что вверху обосновалась колхозная контора, «там заседали» бухгалтеры, что-то считали, интересно, что они могли учитывать? Вся работа по уничтожению крестьянства проводилась по указаниям свыше, но и от местных «деятелей» тоже много зависело.

Мама как-то упрекнула отца за то, что он пожалел четверть водки (3 литра), которую требовали активисты, обещая больше не привязываться. Но отец был для таких подлых дел слишком порядочный человек и видимо рассудил, что верить этим негодяем нельзя.

В нашем селе Калтай было примерно 150-200 подворий, и оно условно делилось на 3 части: русскую, татарскую и «хохлацкую». Наиболее прилично выглядела русская, крайне плачевно, по тем моим детским впечатлениям, - «хохлацкая», а татарская часть вроде получше, видимо за счет продажи лугов русским и каких-то других доходов. Посевов у них, кажется, не было.

И вот когда и взять у нас уже было нечего, на общем собрании и собрании комбеда наша участь была решена. Старые жители говорят, что комбедов не было, но я не верю, все было в нашем государстве доля разорения крестьянства, был и комбед. Кто возглавлял его в нашем селе не знаю; помню только две фамилии – Коротков А. и Ефимов.

17 мая 1931 года будит нас мама утром вся в слезах, приговаривая: «Деточки, милые, вставайте, нас куда-то повезут». Так ласково она нас не называла, было некогда «нянчиться», зато отец с нами был очень ласков. Собираться было недолго, одевать было нечего, были мы настолько нищими и голыми, что дальше некуда. Усадили нас на телегу, запряженную нашим Рыжком, впереди сидел возница, милиции, по-моему, не было. Когда ехали по городу до Черемошников, по обеим сторонам улиц стояло много народа, и мне вспоминается, что многие плакали и иногда бросали в наши телеги что-нибудь из одежды, еды.

Сколько мы просидели в ожидании баржи – я не помню, приходили родственники, что-то приносили, а что они могли принести? Почти все были нищими. Отчетливо помню эпизод тех дней: прослышала мам, что некоторых возвращают обратно домой, и повела нас всех в деревянный дом с тремя ступеньками. По центру комнаты стоял стол, украшенный красной скатертью, а за ним в центре сидела женщина в синем костюме и белой блузке, по бокам – двое мужчин. Мама стала объяснять, что вот у нее пятеро детей, старшему 15, а последний на руках, муж сидит в тюрьме. Женщина безглаголиво поморщилась и приказала выйти вон...

Посадили нас в трюм баржи, теснота страшнейшая, кажется ноги вытянуть было некуда, наверху баржи конвой «охранял» наши жизни и наших лошадей, выходить не разрешалось, кроме как в строго отведенной

время, но были случаи, когда люди бросались в реку, не выдержав столь унижительного положения. Еще помнится, что речная вода заплескивалась в трюм. Тогда видимо не знали, что такое туберкулез. Сколько дней шлепал спицами пароходик с нашей баржей не знаю. Но, наконец, прибыл, разгрузили нас на острове против села Парабель. Селение стояло как бы на пригорке, а мы были внизу. Однажды ночью нас разбудили родители, а кругом в темноте стоял рев, крик, стоны. Поднялся уровень воды в реках, и остров стало заливать. Народ хватал свои пожитки и перебирался повыше. Правители, похоже, рассчитывали, что большая вода унесет «кулацкий класс» в Северный Ледовитый океан, должны же были его как-то ликвидировать, но просчитались. Если есть Бог, то он тогда услышал мольбу неповинных людей.

Через несколько дней после нашего приезда появился отец. Я не помню, отпустили его или он сам бежал к нам. Условия содержания под стражей были не такие, как во времена Ежова-Берия, и если он бежал, то не на волю, а в условия еще более худшие, чем в тюрьме.

Спустя еще несколько дней нас снова погрузили на баржу и повезли по реке Парабель до остяцкого поселка Соиспаево. Там стояло несколько домиков, а нас выгрузили на противоположном берегу, и по-моему, рядом была какая-то протока или заводь. Здесь был густой лес и далее болота с небольшими участками суши.

При выгрузки из баржи у нас стали забирать продукты, приказав свалить все в кучу. И мне отчетливо запомнилось, как наш несчастный отец старался вместе с детьми в одеялах пронести что-нибудь съестное, и как у него это отбирали и били рукояткой нагана, и как он делался, кажется, от этой расправы все ниже и ниже, стал совсем маленьким, морально уничтоженным от мысли, что утром детям нечего будет есть.

И, конечно, люди голодали, умирали, во многих местах валялись мертвые, их не успевали закапывать. Мы, ребятишки, целыми днями лазили везде, видели эти сцены и запомнили все.

Все отнятые продукты обвязали прутьями, получилось два плетенных короба, и, конечно, все гнило, портилось, а мы, детвора, раздвигали эти прутья, чтобы что-то взять в горсть и съесть.

Я была, видимо, крепче, а Валечке<sup>1</sup> не было и двух лет: через несколько месяцев она умерла от голода, а вторая сестра трех-четырёх лет была так истощена голодом, что походила на старую, старую старушечку с отвисшей кожей, ручками-ножками карандашиками и от бессилия потеряла голос. Когда она немного ожила, то начала говорит по одному слову в день и очень походила на тех детей, каких фотографируют в Африке, а снимки помещают в нашей центральной прессе.

---

<sup>1</sup> **Сизова Валентина Ефимовна.** Родилась в 1929 г. Проживала: Томский р-н, с. Калтай. Приговорена: 12 декабря 1931 г., обв.: кулаки (Постановление СНК и ЦИК СССР от 1.02.1930). Приговор: спецпоселение - Парабельский р-н Томск. обл., ум.в 1931. Источник: УВД Томской обл.

Через како-то время людей начали делить по участкам. Помню названия – Смольный, Белка, Щука, - до 10 поселков, удаленных друг от друга. Добираться от одного к другому приходилось по лежневым дорогам, мастерили их те же «кулаки», стоя в болотах, в майской или июньской воде, которая в этих северных местах очень холодная. Не одна сотня людей погибла на этих дорогах. Начали выдавать паек по 8 кг (?) муки в месяц на человека (точно не помню) там, где не было жилищ и печей, что бы из нее печь хлеб, все надо было делать. Отец соорудил землянку с крышей из дерна, и дождь протекал через нее. У нас не было ни одного гвоздя, не было топора.

В поселке начали сооружать больницу. Поскольку у отца лошадка Рыжко, его заставили работать с ней по хозяйству: корчевать, убирать внутри и снаружи, подвозить воду, продукты, хоронить умерших и т.д.

Запомнились мне две фамилии «командующих нашими жизнями»: Сафонов – белый, мордастый, лет 30-ти, с наганом и Гурьев – высокий, острорылый, корявый, горластый и, конечно же, тоже с наганом, которым он часто пользовался, угрожая даже детям. Думаю, что для этих личностей в поселке Соиспаево специально готовили еду, а они обжирались «кулацкими» Кохами, отобранными при выгрузке. Запомнилось как Гурьев кричал на всю округу: «Старик, кулацкая морда, вези нас на ту сторону, да быстро, иначе...» (Маты и наганом размахивает). Отец бросает все и бегом к лодке. Как он был унижен, прибит... Страшно вспоминать.

Один эпизод: мама отделила крахмал от отрубей, не то пшеничных, не то овсяных, на кисель, наверное. Эти отжимки стояли на виду. Появилась старая женщина, изможденная вся и попросила помочь от голода. Чем же мы могли ей помочь – нечего дать. Увидела она эти отжимки, с такой жадностью набросилась на них: стоя на коленях, руками заталкивала их в рот, остальное вытряхнула в сумку, вытащила большой шелковый красный платок, и когда мама отказалась его брать, бросила платок в угол и пошла приговаривая: «Будет чем детей накормить».

Мы платок этот не брали в руки и не носили. Он стал как бы символом большого несчастья людского. Некому было что-либо продать, не у кого было обменять что-то на еду.

На зиму нас перевел в поселок Соиспаево (остяки, помнится, все убежали, бросив домишки) и поселили в только что отстроенном бараке из сырого леса, крытом дерном, в сырости, с блохами вшами. Бань на было, мыла – тоже. В бараке жило около 6 семей; посередине были сколочены широкие нары высотой более метра, на этих нарах и проходила вся наша жизнь. Варить особо было нечего, но зимой можно было черпать рыбу из проруби. Она плыла дохлая, видимо, от недостатка кислорода. Так народ кое-как приспособивался, чтобы не умереть с голоду.

При упоминании по радио или телевидению фамилии Звягинцев вспоминаю сразу эту семью из Алтайского края, особенно хозяйку с мокрыми красными глазами. Запомнилась она тем, как брала холщевые детские рубашки и проводила зубами по швам, таким образом уничтожая

вшей. У меня при этом воспоминании и сейчас во рту начинает клубиться слюна. Жили страшно, но не ругались.

В эту зиму я ходила в школу, в первый класс. Школа была организована в остяцком доме. Однажды мама сказала, чтобы я подошла к кому-то (не помню) и сказала, что у меня кружится голова (так оно и было на самом деле), и меня включили в список ослабленных детей. После занятий в школе нам давали гречневую или овсяную кашу с маслом.

Кое-как дожили до весны, около барачков стали корчевать участки под огороды. Семена хозяйки, видимо, привезли. Тем временем народу хорошо поубавилось, кто умер, кто сбежал. Больницу закрыли и отец остался не у дел.

Наш Рыжко забрел нечаянно в болото, погнавшись за зеленой травкой. Когда отец пришел за ним с уздечкой, он так радостно заржал! Но после того, как отец ничего не смог сделать, чтобы его спасти, животное поняло, что это конец, и плакало долго, протяжно, его все больше затягивало в тину. Мы долго не могли забыть Рыжко, лошадь была умница, никогда нас, детвору, не тронула, мы лазили по нему, надоедали. Отец пришел, положил уздечку и сказал: «Теперь будем умирать с голоду». Как-то в нашем хозяйстве оказалась ваза под цветы. Мама сказала, чтобы я занесла ее учительнице: «Все равно нам скоро умирать. Нам она ни к чему». Это же я и повторила учительнице.

Тем временем подоспела колба, и нас послали куда-то в лес ее заготовливать, солить. Тайга была непролазная, гнус страшнейший, комары крупные, таких я больше не видела. В лесу было холодно, ели вареную колбу, заправленную затирухой, и было счастьем, если в чашке попадетесь пяточок этой затирухи. Однажды у нас заблудился один старичок, спецпереселенец. Мы на вечерней заре кричали до хрипоты, но он не пришел. Только на следующий день он нашелся и запомнились его белые дикие-дикие глаза. Он ничего не говорил. Его опять погнали в лес, и опять он не пришел. Искали старичка несколько дней и, когда, наконец-то, нашли, он сплошь был усеян комарами кровопийцами. Принесли лопаты, мужчины выкопали яму, в которую положили несчастного, и все – конец еще одному «кулаку». Над его могилой горько плакал его внук лет 10-12. круглый сирота.

Очевидно родители списались с сестрой отца, Татьяной Максимовной, чтобы они взяли меня к себе. Жили они в Чаинском районе, тоже были сосланы, но их меньше обобрали, поэтому у них была корова, пасека. Они смастерили домик, детей у них не было. Дядя и его отец умерли друг за другом, Татьяна Максимовна осталась одна. У нее жизнь тоже была тяжелая: заставляли корчевать деляны под посевы. В Чаинском районе тоже было много спецпереселенцев, голодали страшно, но у них были уже огороды. Татьяна Максимовна много продуктов от своего хозяйства отдавала голодающим.

В июле-августе, кажется, 1932 года родители снарядили меня в поездку к тете, вручив мне узелок весом с полкилограмма. Мы переплыли речку Парабель, чтобы обойти пост комендатуры на главной дороге, потому что без

пропуска в райцентр не пустили бы. Я, зареванная, с остановившемся сердцем, должна была расстаться с родителями, сестрами. Полная неизвестность. Меня уговаривали тем, что я буду пить молоко, есть мед, сколько угодно хлеба и т.п. Я говорила им: «Ничего мне не нужно, буду есть, что будет, не будет чего кушать, будем умирать вместе, никуда я не пойду от мамы.». ухватила за ее ноги, она отрывает от себя, я хватаюсь снова и кричу, что буду умирать вместе со всеми. Отец отрывает меня, я снова бросаюсь к матери, умоляю ее. Родители стращали, что мой крик услышит комендант, вернет назад и посадит в тюрьму. «Пусть садит, только с мамой!» - и я стараюсь кричать погромче, чтобы комендант услышал. Но он не услышал, отец крепче ухватил меня за руки и потащил от матери. Я несколько раз оглянулась – она все стояла на одном месте с опущенной головой и в слезах. Так на всю мою жизнь слово «мама» осталось там, в парабельских лесах, там же осталось и мое детство, хотя оно и там было не ахти каким радостным. Позднее, в 1943 году, когда «вождь всех народов» «простил» спецпереселенцев, и им выдали паспорта, мать с младшей сестрой приехали в Томск. Но для меня это была совершенно чужая женщина, в отношениях с которой не было ничего родственного. Кто же виноват в этих исковерканных дочерних чувствах?

Мужчин-спецпереселенцев призывных возрастов в Советскую Армию не брали. «Кулаки» с оружием в руках были опасны для «вождя». Но в период войны он вспомнил об этом людском резерве, и всех «прощенных» необученными послал в составе сибирских полков под Москву и Сталинград. Наверяд ли перед боем они подумали о «вожде». Они думали о Родине как во все прошлые времена, во все прошлые войны.

Итак, отец оторвал меня от матери, с каменным, ледяным сердцем мы побрели к Парабели. Наутро он как-то ухитрился затащить меня на пароход. Помню неоднократные проверки документов, когда меня прятали в рундуки, под кровати. То ли в Могочино, то ли в Молчаново меня высадили. Там меня встретила семья Шиндяпиных. Глава семьи, тоже «кулак», в возрасте 50-55 лет вел меня до Гришкино 60-80 километров. А сейчас, наверное, и 8 километров не пошли бы.

Тетя встретила радостно, но того времени я потеряла улыбку и смех. Иногда, когда я посла коров, то заходила в лес поглубже и кричала: «Мама! Приди ко мне!» так было тяжело. Со временем боль, конечно, притупилась, я стала отвыкать от родителей и сестер. Другую сестру взяла к себе другая тетя, а брат прибавил себе год, и его взяли работать на барже один смелый по тем временам человек, хотя и знал, что брат «кулак». Он сказал: «Мне наплевать, кто и что, знаю одно: это самый трудолюбивый и честный народ, который никогда не подведет». Были на земле нашей в то черное время и порядочные люди. Человек этот жил там, где «замерзала» его баржа.

Вспоминается такой случай, происшедший в 1932-33 годах в Гришкино на берегу Чаи. Я заметила, что около катера с баржей стоит много народа. Когда я подошла ближе, то увидела разных детей с большими головами, животами, с отвисшей кожей, тонюсенькими ручками. Везли их с какой-то

Палочки или Галочки. Потом я узнала от врача (она в то время еще училась в ТМИ), что на этих детях было хорошо тренироваться делать уколы.

В Гришкино была начальная школа, я ее закончила. Учитель тоже был ссыльный: Михаил Маркелович. Супругу его звали Антонина Ивановна. Он не терпел, когда она курила, и она приходила к нам справлять это удовольствие. Однажды я принесла им молока, Михаил Маркелович посадил меня на стул, надел мне наушники, из них лилась музыка, говорили люди, как будто где-то было очарованное царство, а это был всего на всего Новосибирск, где, как и везде, шли ареста и расстрелы.

Когда мы с тетей в 1936 году выехали из Чаинского района в Томск, с общей родственной помощью купили полдома по улице Татарской. Никогда не проходила я мимо двух красных зданий, которые тогда единым строением, по улице Ленина № 42. Наверное, все дети знали, что там размещалось, а по городу бегал черный «воронок», обтянутый железом, без окошек. На боку была нарисована улыбающаяся женщина с фужером в руке, и написан призыв: «Пейте шампанское!» вот с каким юмором наши «деятели» отправляли людей на тот свет.

Часто наутро в ухо передавалось сообщение, что сегодня ночью взяли такого-то. «Только ни кому ни-ни». Жили под таким страхом и взрослые, и мы, ребятишки. Училась я в то время в сельском классе школы №18 по улице Горького, 33. был у нас любимейший учитель русского языка и литературы – Константин Иванович Богашев, было ему лет 65-70, и однажды он не пришел на урок. Пошли к нему, но дома его не было, в доме полное уныние. Это потом мы догадались, что с ним стало. Мы грешили на Марию Андреевну Андросову. По нашим понятиям она была сексотом и «посадила» Константина Ивановича, а дальше делала быструю карьеру, став директором школы.

Из деревни Спас (ныне Коларово) сослан был мой дядя со стороны мамы Конев Никифор Васильевич с 5-ю малышами детьми, одна из которых вскоре там умерла. Его жену, Клавдию, по видимому, отравили в больнице, куда она попала с подозрением на тиф. (Навряд ли он и был. Кто мог поставить этот диагноз? Врачей-то не было.) Больная уже ходила, должна была выписаться и вдруг ночью умерла. Из ушей у нее исчезли золотые сережки. Дядя потом встретился на лесной тропе с предполагаемой воровкой. Она так перепугалась его, что кинулась в сугроб и увязла. Дядя сказал ей: «Не бойся, не трону я тебя. Взяла бы эти сережки, все равно тебе никто бы слова не сказал. Мы ведь вне закона. Вера тебе». Она ему ничего не ответила.

Когда тетя Клава умерла, мы жили на поселении в Соиспаево. Мама ежедневно уходила к ее осиротевшим детям в поселок Смольный, который был в километрах трех от Соиспаево, на весь день. Как-то чем-то их надо было кормить. Вскоре за грудной девочкой приехала их тетя, и говорят, ребенок не пискнул в корзинке в самый напряженный момент, когда она садилась на катер на пристани в Парабели, где находилась спецкомендатура.

Не знаю, по каким бумагам, но дядю Н.В.Конева освободили и вернули дом, который к Ому времени превратился в развалюху, будучи

переоборудован под склад. Он стал работать в колхозе пчеловодом, и доход от его труда для колхоза немалый. (Все его дело после его ухода пропало).

Хозяйкой в доме была наша бабушка Екатерина Тимофеевна Конева. В то время ей было не менее 70 лет. Запомнился такой случай: не пришел из стада их бычок. Она просит внука Павлика: «Сходи, поищи». Павлик, мальчик лет 12-13, ходил, искал и не нашел. Наутро выяснилось, что бычка зарезали, и бабушка сказала внуку: «Павлушенька, просила тебя, как следует поискать, а поленился и вот ввел людей в грех». Заботилась о том, что бы у людей было поменьше грехов перед Богом, а эти люди не побоялись отобрать кусок у сирот. Сидели мы, сироты при живых родителях, около 70-летней бабушки: нас 8 человек, 8 ртов, которые надо кормить. Спасал огород, картофель. Сидела бабушка, помню, с опущенной головой, распухшими пальцами. Ее руки много поработали, а результат – страшнейше нищенство, непомерные налоги на все живое и неживое.

Крестьяне везли на саночках овощи, мороженное молоко, мясо, чтобы иметь деньги в погашение налогов, чтобы купить кусок мыла, керосин и т.п. Женщины всю зиму были в лесу, мужчины – в тюрьмах, на строительстве Кузбасса. Что эти люди думали, чему верили? Уверена – никому не верили, а хлопать в ладоши и кричать «Ура!» надо было, иначе капут. Смешно читать сейчас высказывание некоторых историков о прошлом, о какой-то вере в «вождя». О том, что русский Иван – совсем дурак не мог разобраться, что к чему, не мог понять, за какие грехи взяли соседа, который исчез, и семья которого становилась как бы «прокаженной» - ни работы, любой, ни поступления в ВУЗы и т.д.

Однажды, в 1938-39 г. (точно не помню) пришел за мной в декабре милиционер (а зимы тогда были очень суровые): «Собирайся, пойдешь этапом до места ссылки». Это 500-600 километров, в декабре-январе, я 15-16 (летняя) девочка, полураздетая, полуразутая. На что было покупать необходимое? Да и в магазинах ничего не было: до 1947 года я не видела как ткань упаковывают. Люди давили друг друга в дверях магазинов. Для поддержания порядка в очередях выезжала милиция на лошадях.

И вот мне предстоял этап. Наверное, и наручники одели бы. Я отказалась: «Тащите меня по улице, убивайте меня тут же. Я не сделаю ни одного шага – все равно я замерзну в дороге. Буду писать Калинин про «наше счастливое детство» (Я сейчас храню бумажку, выданную вместо паспорта, с пометкой «Видом на жительство служить не может»). Как ни удивительно, но от меня отвязались, «освободили» от этапа.

Надо было как-то поступать на работу, а биография какая страшная – «враг народа», «кулак», спецпереселенец. Приходилось мудрить, что-то скрывать, молчать об этом в сугубо личной обстановке.

А как жили мои родители в ссылке в довоенные годы? Ютились в бараке, наполовину в земле, спасались огородом, собирали и сдавали в заготконтору ягоды, сушили грибы, покупали лишь самое необходимое для существования. Поселок убывал: кто умирал, кто убегал. Пытались организовать колхоз, загоняли и моего бедного отца, но он не поддался.



Тогда по старому испытанному средству его обложили налогом, который было не из чего платить. Неужели районный парабельские деятели не понимали, что у таких, как отец, нет средств для погашения налогов?! Лишь бы поиздеваться, поглумиться над людьми! Пришли, наконец, с описью имущества, и какое же оно было: 3 или 4 подушки, изношенный собачий тулуп и 4-5 материнских кашемировых платков, ее приданное, бережно хранившееся про самый черный день. Все пожитки отобрали без стыда и совести, но все это было копейки, а налог то был большой. Тогда его арестовали, судили, а суд в те времена был скорый. Чего церемониться!

Отец получил три года, срок отбывал на шахтах Кузбасса, где условия содержания рабов того времени были хуже скотских у хороших хозяев. После отбытия срока вернулся он в зимнюю пору калекой в обутках на деревянной подошве.

В августе 1940 года я поехала проведать родителей. Там было несколько избышек, колхоз «лопнул», как мыльный пузырь. Мы то были недостойны его, то нас снова туда загоняли. Правильно сделал отец, что не подчинился – это был хоть слабый, но протест против дикого насилия.

Как жили родители – неохота лишней раз говорить. Сестренке было лет 12-13 – дикая, безграмотная в стране 100% грамотности, знающая только полуголодное существование. Я пробыла у родителей недолго, нестерпимо было все это видеть. Проводил отец меня до Парабели, перевез на лодке через речку к пароходу. Вылезла я на высокий берег, скрылась с его глаз, села на фанерный свой чемодан и долго плакала. Видимо сердце предчувствовало, что больше я отца не увижу. Так и случилось. 2 февраля 1941 года он умер не дожив до 60 лет. От какой болезни? Смешно, разве «кулаку» ставили диагноз? Еще их и лечить – дорогое удовольствие для государства.

В 1936 или 1937 годах в Томске был объявлен набор на курсы лаборантов (Комитет заготовок) для лиц с образованием 6 классов. И я пошла, хотелось поскорее устроиться работать прожиточный наш минимум был минимумом в буквальном смысле слова. Тетя Таня не работала, перебивались кое-как на хлебе, картошке и овощах (все со своего огорода). Устраиваться на курсы я пришла босиком, с угрюмым видом, в тому же, наверное, непричесанная. Я чувствовала себя заброшенным, никому не нужным человеком, боящимся взять лишний кусок.

Стали меня спрашивать про родителей. Врать я тогда еще не научилась и сказала, что они ссыльные. Ответом было: «Иди от сюда и больше не приходи».

По окончании 7 классов, я поступила в педучилище, а в 1940 году приехавшая к нам инспектор Зырянского РОНО уговорила меня поехать к ним работать. Нас послали работать в Шиняевскую школу, начальную. Жили мы, две девочки из города, впроголодь. У меня было две юбки, но одну пришлось выменять на пуд картошки. За деньги ничего не продавалось, потому что было нечего продавать. Хлеб к тому времени уже отпускался по норме – надо было Гитлера кормить, а зарплата была 193 рубля 15 копеек в

месяц. Учителя, имевшие законченное предобразование, получали 215 рублей. Однажды, в середине октября, я пришла утром в класс и увидела, что за партами сидят 3-4 человека. Спрашиваю про остальных, отвечают, что не пришли из-за холода. «Но какой же это холод?» - «А им обувь нечего». Я пошла по домам посмотреть, как живут мои ученики, и пришла в ужас. Заходишь в дом – слева большая русская печка, на ней сидят дети в холщовых одежонках, увидев меня, спрыгивают с печей, одевают пимные обрезки, залатанные, чуть повыше щиколотки, одежды теплой нет. На табуретке стоит деревянное ведро, возле него жестяная консервная банка или что-нибудь вроде этого, на полках кое-какая посуда, на деревянных полатах – лохмотья постели, изнуренные женщины, которые с большой радостью послали бы своих детей в школу, но увы! Нечего одеть, обувь.

Мне жилось плохо, и я предполагала, что другим лучше. Но оказалось это не так, жилось людям, хуже некуда. Не знаю, что думали в Зырянском РОНО, направляя нас двоих в такую школу. Ведь такое положение было не первый год.

Пришлось мне уехать работать в село Чердаты. Однажды, во время зимних каникул, в воскресенье, я решила съездить в Зырянку, тем паче, что туда же ехал механик МТС на лошадке. Договорились на следующий день часов в 5-6 ехать обратно. Часов ни у кого из нас не было, и когда я пришла назавтра, мой попутчик уже уехал, решив, по-видимому, что я отложила возвращение. И я одна, в 35-40 градусный мороз пешком шла назад, кое-как обутая, среди ночи – до такой степени мы, то есть народ, были запуганы, что рассуждали: «Пусть лучше меня волки съедят, чем прогневать». Не дойдя километра 2-3 до места, я постучала в дверь в како-то деревне и объяснила в чем дело. Добрые люди пустили и сразу меня на печь, а утром и пораньше разбудили, чтобы успеть к началу занятий.

Началась война. Нас, местных молодых учителей, оттеснили эвакуированные с Запада опытные учителя. Надо же было и им как-то жить. В Томске я устроилась работать на завод № 690 (Московский). Опять пришлось привирать биографию. Где-то в 1943 году на завод пришел человек агитировать поступать в техникум Комзага, такой настойчивый, что уговорил несколько из нас – у них был большой недобор. В 1946 году я закончила техникум и получила направление в самый южный район Омской области заведующей лабораторией 3 в Одесское Заготзерно.

И здесь жилось очень плохо: в магазинах ничего, печи топили бурьяном, вода в колодце на глубине не менее 50 метров и соленая, вьюги длились по 2-3 дня, заносило все вокруг. Домишки заметало выше крыши, хорошо, что двери открывались вовнутрь, и можно было откопаться. Ни палочки, ни дощечки не найти. Жили не снимая телогреек, бань не было. Под пасху и топили печь, накалили кирпичи, опускали их в железную бочку, и все мылись по очереди в этой бочке, не меняя воду. Для того, чтобы нагреть воду более одного раза не было топлива.

Моя прошлая жизнь, вернее «кулачество», отразилось на будущей. Ведь для некоторых людей карьера дороже всего, и в далекие и не столь

отдаленные времена такие предавали самых близких людей. Всю жизнь я избегала общения – как кто чего не спросил.

Сейчас идет формирование правового государства, но остается вопрос: до какого уровня оно дойдет, каковы будут комплексы законов, и главное, как они будут соблюдаться на всех уровнях. В этой связи мне вспоминается случай из моей жизни.

Проработали мы учительницами в Шиняево дней 10-15, когда наш старшой сказал, что звонили из Зырянского РОНО и приказали нам двоим прибыть туда к 12 часам дня. Утром назначенного дня нам предоставили лошадь, и мы отправились, но как не торопились, опоздали (от Шиняево до Зырянки около 40 километров). Когда мы зашли в РОНО, моей подружке-учительнице передали, что звонили из Асиновской школы и сообщили о том, что в Асино на вокзале сидит ее мать с 4-летней внучкой, она собирается к ней на постоянное место жительства, с ними есть какие-то пожитки. Надо заметить, что у матери мой подруги были какие-то психические отклонения. Поэтому учительница поспешила на этой же лошадке на вокзал, у нее нашлись попутчики, я пошла в районный клуб, куда были собраны учителя на какое-то очередное наставление. Зашла, выслушала все наставления, народу было полон клуб. По окончании я пошла к пункту Заготзерна и оттуда с пересадками ночью вернулась домой, а утром выяснилось, что нашему старшему шиняевские жители, видящие мою подругу на пути в Асино, сообщили о нашем «побеге» и угоне лошадки. Старшой принялся звонить во все колокола, а в первую очередь в РОНО. Мне было поздно что-нибудь предпринимать: «машина закрутилась», и сработал указ, по которому за опоздание на 21 минуту полагалось вычитать у меня из зарплаты 25% в течении 4-6 месяцев. Начальники из РОНО Лукянчиков и Поданев трясутся от страха и подают в суд (так просто привлечь к ответственности неопытную, безмозглую девчонку, которая не зарегистрировалась в журнале о своем прибытии в Зырянку на этот заседательский суд). А кто мне сказал, как нужно делать? Стажа у меня было каких-то 10-15 дней.

Приехала я в Зырянку с повесткой в суд, зашла в РОНО, стала с Поданевым объясняться, рассказывать, о чем в клубе говорили, кто выступал, с кем из учителей ехали вместе то ли до Громышовки, то ли до Михайловки. Отвечает: «ничего не знаю, ничего не знаю». Пришла в суд, там был только один мужик лет 50, лысый. Он начал мило улыбаться, как залихватский кавалер, шутил-шутил, а потом грозно рыкнул: «Встать!» и далее «именем... 6 месяцев 25% из моей ничтожной зарплаты, как я ни доказывала, не говорила, что не прогуливала, ничего не помогло. А в голове сидит сцена суда и «Воскресения» Л.Толстого – сколько там было присяжных, а здесь никого, кроме этого лысого.

Так что и я имею судимость, разве можно было отстать от «моды»! В связи с этим вспоминается фельетон из газеты «Красное знамя». Герой этого фельетона вышел на работу (наверное, по гудку старой ТЭЦ), дошел до одних часов на улице – уже опаздывает, побежал рысью, прибежал к другим (наверное, на здании нынешнего ТИАСУРа), - нет не опаздывает. Перевел

дыхание, пришел еще к одним часам (наверное, на ТИИ) – уже опоздал на одну минуту. И суд! 25%, 4 месяца из зарплаты. Тогда суды были, наверное, на хозрасчете. Но фельетон был не о том, а про то что часы в довоенном Томске шли вразнобой.

Недавно в газете «Красное знамя» была опубликована фотография политссыльных революционеров в Молчановском районе. Глядя на это фото, невольно думаешь: «Недурно им тут жилось». Упитанные, в вольных позах, собирались такими группами, фотографировались, наверное, получали денежное содержание, у местного населения покупали нельму, осетровую икру, молоко и т.д. Бегали туда-сюда, например, наш «сверхгений», который пробыл в ссылке всего 39 дней, за что ему, как величайшему «страдальцу за народ» и был открыт музей в селе Нарым. В то время мой дядя служили в армии и сопровождал его до станции Томск. При передаче политических ссыльных, предыдущий сопровождающий наказывал, чтобы солдаты ничего лишнего про царей в присутствии этого усача не болтал.

За эти 39 дней Сталин с лихвой отплатил народу – кормильцу, элите, цвету русского крестьянства. После разорения которого, начался мор и голод. Ни тогда, когда я была маленькая, ни после, когда стала старше, в душе моей ни на одно мгновение не было сомнения или упрека моим родителям. Разве можно забыть все, что выпало на нашу долю, на долю моего отца! Забыть, как он вынужден был ходить с сумой, побираться, мой гордый, красивый отец, русский крестьянин, хозяин, кормивший сворим трудом десятки людей. До самого последнего вздоха не забуду этот издев над моим отцом и всеми русскими людьми, и проклятье всем бывшим и живущим, которые защищают этот режим! И по-прежнему остается без ответа извечный русский вопрос – за что?!

Запись Н.В. Кащеева.